Б. Б. Ходорковская

АНТИЧНЫЕ ГРАММАТИКИ О ГРУППЕ ГЛАГОЛОВ NŌVĪ, MEMINĪ, ŌDĪ.

1. В трудах античных грамматиков в разделах, посвященных недостаточным глаголам, указывается группа nōvī, meminī, ōdī и отмечаются признаки этих глаголов, отличающие их от других глаголов. Сообщается, что эти глаголы имеют форму перфекта, но значение презенса. Так Сервий пишет [GL V 43]: odi, memini, novi, quaeritur cuius sint temporis, constat esse perfecti, nam et perfectum in «-i» semper exit, ut legi, scripsi, et praesens tempus numquam in «i», sed semper in «-o» exit. Illa enim verba significationem habent praesentis temporis, regulas autem praeteriti.

Число таких форм «перфекта-презенса» колеблется в трудах грамматиков от трех до пяти. Харисий [GL I 257] называет также pepigī, а в разделе об инхоативных глаголах среди примеров, как caleō – calescō, floreō – florescō, он ставит consuēvī – consuēscō, где форма перфекта consuēvī занимает место презенса других глаголов и, очевидно, имеет значение настоящего времени. В современной грамматике латинского языка М.Лоймана [1977, 510] перечислены четыре формы «перфекта-презенса»: nōvī, meminī, ōdī, suēvī. Возможно, что число таких форм в архаической латыни было большим.

2. Другая особенность глаголов nōvī, meminī, ōdī, на которую обращают внимание античные грамматики, – отсутствие у них форм пассивного залога. Харисий пишет [GL I 257]: haec verba passiva non habent. Диомед сообщает [GL I 387]: «odi» in significatione passiva .... aliter formari non potest quam si dicas «odio sum illi», т. е. используется описательное выражение для передачи пассива «я ненавистен».

3. Особенность глаголов nōvī, meminī, ōdī, по сообщениям грамматиков, это – их причастия. По мнению Харисия [GL I 257], nec participium fere habent «они почти не имеют причастия». Грамматик Фока пишет подробнее [GL V 437], указывая, что эти глаголы не имеют ни супина, ни инфинитива будущего времени, ни причастий, кроме глагола odi, у которого есть причастия прошедшего времени exosus и perosus (deficiunt ...etiam in participiis utriusque temporis. Unum ex his «odi» duo participia facit praeteriti temporis figurae compositae: exosus et perosus). Дополнением к этому высказыванию может служить замечание Феста [Fest. 220,2], что perōsus имеет активное значение, ср. также словосочетание exōsus bella, которое приводит грамматик Помпей [GL V 73,3]. Причастие ōsa без приставки встречается в тексте Плавта [Plt. Amph. 900] inimicos semper osa sum optuerier «я всегда ненавижу (= мне всегда противно) смотреть на недругов». Скупо говорит о причастиях глаголов

nōvī, meminī, ōdī, Присциан [GL II 560,I4]: «odi», «novi» – «osus», ex quo «perosus» et «exosus», «notus» ... et «memini» – «meminens». Значение причастия nōtus древними грамматиками не комментируется, Присциан [GL II 5I0,I8] лишь приводит один пример употребления причастия ignotus: Ter. Ad. 474 ignotum est, tacitum est, creditum est «прощен, молчат, верят» (перевод С. И. Соболевского).

Итак, первые два признака глаголов nōvī, meminī, ōdī, которые называют античные грамматики, совпадают с характеристикой индоевропейского перфекта. Эта группа глаголов является архаизмом в латинском языке. Вопрос о причастиях этих глаголов – их числе, их значениях – античными грамматиками не решен. Противоречивость их высказываний, возможно, свидетельствует, что причастия глаголов nōvī, meminī, ōdī не соответствовали норме классической латыни.

В. Л. Цымбурский

ДЕЛО О ПРЕНЕСТИНСКОЙ ФИБУЛЕ: К ОЦЕНКЕ АРГУМЕНТОВ

1. Чтения памяти И. М. Тронского – достойный повод обсудить проблему Пренестинской фибулы. В своих трудах по истории латинского языка Тронский постоянно обращался к надписи на этой фибуле как к древнейшему его памятнику (VII в. до н. э.), иллюстрируя динамику латинской фонетики и морфологии сопоставлением форм из данного текста с позднейшими. Можно лишь пожалеть, что ученый не дожил до начала 1980-х гг., когда статус самой фибулы и текста на ней стал предметом бурного спора среди атиковедов и лингвистов после выхода работ А. Гордона [1975] и особенно М. Гвардуччи [1980, 1984].

2. Эти работы дотошно воссоздают судьбу фибулы в конце XIX–XX вв.: ее презентацию в январе 1887 г. видным археологом В. Гельбигом, вторым секретарем Немецкого археологического института в Риме, на заседаниях сперва Института (7. 1), а затем Академии деи Линчеи (16. 1) в качестве изделия, найденного в 1871 г. в некоем пренестинском погребении по соседству с гробницей Бернардини; посвященную фибуле публикацию Гельбига в соавторстве с Ф. Дюммлером (1887); передача ее 30 июня 1889 г. в Музей Вилла Джулия как дара от близкого знакомого Гельбига – коллекционера и торговца антиквариатом Ф. Мартинетти; ее присоединения в 1901 г. к экспозиции находок из гробницы Бернардини в Музее доистории и этнографии (совр. Музей Пигорини); кривотолки и легенды, окружавшие фибулу в итальянской научной среде на протяжении XX в.; ряд выступлений антиковеда Дж. Пинцы, начавшего с простых со

мнений в подлинности вещи (1900-е) и кончившего заявлениями в 1920-30-х, со ссылками на покойного к тому времени ювелира А. Кастеллани, якобы фибула была изготовлена неким золотых дел мастером по образцам из гробницы Бернардини, а надпись процарапана под диктовку каких-то «иностранных ученых»; колебания прославленного лингвиста В. Пизани, в 1920-х общавшегося с Пинцей, а затем в разные годы высказывавшего о самой фибуле и о надписи взаимоисключающие суждения; наконец, отделение фибулы в 1960 г. от вещей из гробницы Бернардини, когда они перешли в Музей Вилла Джулия, а фибула была оставлена в Музее Пигорини (по сообщению А. Е. Кузнецова, сейчас она все-таки передана в Музей Вилла Джулия и там пребывает).

3. Гвардуччи придала дотоле сугубо академической проблеме Пренестинской фибулы ярко детективную окраску, указав на ряд фальшивых антиков, поступивших в конце XIX в. в европейские собрания из магазина Мартинетти при экспертной поддержке Гельбига (цисты с поддельными изображениями, проданные в копенгагенскую глиптотеку псевдоантичные статуи «Диадумена» и «Атлета»); на участие обоих в реализации знаменитой подделки – т. н. «Бостонского трона» и т. д. Надо сказать, после фактов, подобранных Гвардуччи, спорить, защищая доброе имя Гельбига, непросто: кажется, его человеческую репутацию можно было бы восстановить лишь сугубо неприемлемой ценою – научно дисквалифицировав блистательного автора «Гомеровского эпоса в свете памятников» и «Путеводителя по публичным собраниям классических древностей в Риме». С другой стороны, к делу о фибуле все это имеет лишь косвенное касательство, как и рассказы об алчности Мартинетти, о найденных в его доме в 1930-х, через 40 лет после его смерти, тайниках, хранивших, помимо больших денежных сумм, массу античных изделий – гемм и т. д. Главное – абсолютно непонятно, какие мотивы для изготовления из золота фальшивой фибулы ради ее щедрой передачи в дар музею могли быть даже не у Гельбига (ему Гвардуччи приписывает намерение свысока подшутить над научным сообществом), а у выставляемого его подельником «жадины» Мартинетти.

4. «Ударный» раздел книги [Guarducci 1980] содержит результаты многообразных экспертиз, проделанных в конце 1970-х, из которых по-настоящему значимой для обсуждаемого вопроса оказалась лишь одна: микроструктурный анализ фибулы, выполненный геологом Г. Девото, обнаружил полное отсутствие у ее золота тех изменений, которые неизбежно возникают при длительном пребывании в земле — зернистости, ломкости, минеральных вкраплений. Вместо этого выявились следы обработки поверхности явно недревнего изделия каким-то наводящим патину коррозийным веществом, причем

обработки, проводившейся, по Девото, в два захода — сперва до, а затем после процарапывания надписи. На фоне этих наблюдений, производящих сильное впечатление, легковесными выглядят попытки Гвардуччи методами графологической экспертизы обосновать сходство начертаний на фибуле с немецким курсивом XIX в., а особенно с прорисовками античных надписей рукой Гельбига: ср. справедливую иронию по этому поводу Г. Крумрея [1982] и Ф. Виакера [1984], оспаривающих сопоставления. Гвардуччи и указывающих на скудость древнелатинского эпиграфического материала, явно недостаточного для серьезных графологических выводов.

5. На фоне множества голосов, безоглядно поддержавших Гвардуччи после анализа Девото (среди них – и голос Гордона, ранее звучавший более сдержанно), выделяется позиция Г. Радке [1984] и Виакера, которые, в чаянии будущей повторной экспертизы изделия, сосредоточились на надписи, точнее – на ее особенностях, необъяснимых, по мнению ученых, в случае фальсификации 1886 г. или более ранней, не предусмотренных компетенцией тогдашней науки, но ставших для нее с обнаружением фибулы подлинными открытиями.

6. До появления книг Гвардуччи текст на фибуле использовался историкам латыни как совокупность свидетельств эпиграфических (диграф ƒh для передачи звука [f]; интерпункция, отделяющая перфектное удвоение от корня; сочетание разных знаков – троеточия и двоеточия – для выделения различных языковых единиц); фонетических (отсутствие ротацизма и редукции гласных); морфологических (номинатив и датив тематических основ ед. числа на -os, -oi; аккузатив местоимения 1-го лица ед. числа med; глагольное окончание 3-го лица ед. числа -d < *и.-е.* *-t, перфектная редупликация основы fac- < *и.-е.* *dheH$_1$- , как в *оск.* fefacid, fefacust из Tabula Bantina (Ve 2, 10, 11, 17), *греч.* τέθεικα, *др.-инд.* dadhau при *лат.* feci, *арх.* feced, *арх. пренест.* fecid). Гвардуччи убеждена, что эти характеристики текста в основном извлечены фальсификатором из найденной в 1880 г. «надписи Дуэноса» и из известной с конца XVIII в. Tabula Bantina при небольших почерпаниях в иных источниках, причем фантазия ее простирается до утверждения, якобы имя Manios с фибулы Мартинетти, родственное *лат.* mane ‘доброе (утро)’, представляет попросту перевод duenos (> bonus) ‘благой’.

7. В своей отповеди Радке и Виакер выделяют как минимум четыре детали, которые не могли быть перенесены в надпись из известных к 1886 г. латинских источников: 1) написание [f] через ƒh; оно встречается у этрусков и венетов, но значение его для этрусской графики было впервые установлено В. Дееке после открытия Пренестинской фибулы и со ссылкой на нее в его книге «Фалиски» [1888], а для венетской определено В. Паули и того позднее — в

начале 1890-х; 2) сама по себе перфектная форма *fefaced как явление латинского языка; 3) отделение слога-редупликанта троеточием, перекликающееся с фалискским написанием pe:para[i..] ‘я родила’ в надписи из Чивита Кастеллана (Ve241); 4) форма имени Numasioi, прообраз *лат*. Numerios, выделяющаяся среди иных, этрусских и италийских, образований от того же корня: *этр*. Numesie (Тарквинии, ок. 700 г. до н. э.), Numisie (Капуя, конец VI в. до н. э.), *новоэтр*. Numsie, Numesi, *итал*. Numesios, Numisius, Nium(p)sis и т. д., ср: [De Simone 1991]. Однако провозглашая все эти явления приметами подлинности надписи, Радке и Виакер не обсуждают возможности их **изобретения** фальсификатором-виртуозом, чуть-чуть игриво перешагивающим современные ему пределы научных знаний. А ведь такая возможность сохраняется для всех случаев, где оригинальные показания фибулы не были поддержаны последующими – так сказать, «контрольными» – открытиями.

8. Именно так дело могло бы обстоять с упомянутым перфектным удвоением, не нашедшим до наших дней новых подтверждений для Лация. Что мешает, впрямь, видеть в нем изобретение, отправляющееся от оскских и иных индоевропейских прецедентов и эффектно вживленное в ряд форм, сфабрикованных по античным показаниям? Сходный случай являет и форма Numasioi, тоже не подкрепленная ни одной другой находкой. Что до позднейшего Numerius, оно вполне может выводиться не из *Numasios, но из *итал*. Numesios, *этр*. Numesie. Почему не счесть Numasioi изобретением, опиравшимся на соотнесение Numerius с основой *лат.-этр*. Numa? Когда убежденный в аутентичности надписи К. де Симоне [1991] приводит имя пренестинского героя, установителя гаданий по священным жребиям и, может быть, изначально местного «Gentilgott» Numerius Suffustius (Cic. de div. II, 41) как свидетельство укорененности Numasioi в пренестинском контексте, – для Гвардуччи [1980] здесь не более, чем подсказка традиции, вероятно, учтенная поддельщиком с классическим образованием.

9. С диграфом ϝh ситуация на порядок сложнее. Напрасно Гвардуччи пытается отмахнуться от этой сложности, сославшись на изданную в начале 1880-х беотийскую надпись из Танагры с формой ϝhεκαδαμοε, где фонетический смысл написания ϝh вообще неясен – [wh-] или [hw-]. Более тонкое допущение Р. Пфистера [1983], якобы фальсификатор ориентировался на этрусскую капуанскую надпись mi numisiies vhelmus, в которой vhelmus передает гентилиций felmu (эта надпись была в 1880 г. опубликована Дж. Гамуррини в приложении к «Корпусу италийских надписей» А. Фабретти), спотыкается о все тот же факт, подчеркнутый еще в 1975 г. Гордоном: до 1888 г. реальное значение vh- в этрусских надписях было неясно (предполагалось чте

ние [h]). Остается лишь гадать, как Э. Хэмп [1981], не мог ли Дееке с кем-нибудь поделиться своим открытием за два года или больше до публикации «Фалисков», или предположить, что фальсификатор открыл этот факт самостоятельно. В том и другом случае мы бы имели здесь фабрикацию, основанную на неопубликованном открытии, опередившую его появление в печати и ставшую в глазах современников его важнейшим обоснованием. Как ни сомнительна такая идея, вовсе отвергнуть ее нельзя. Несомненно, ссылки Радке и Виакера на передачу латинского [v] через *Ϝ* в очень ранней пренестинской надписи на серебряном кубке VII в. до н. э., открытой в 1949 г. (форма женского имени Fetusia = Vetusia, *позд*. Veturia) как на возможную структурную предпосылку для фиксации в тех же местах латинского [f], глухого коррелята к [v] через *Ϝ*h – интересный косвенный довод. Но все же окончательного вердикта он не предрешает.

10. Наконец, совершенно уникально значение интерпункции, используемой в надписи на фибуле. Гвардуччи ошибочно пробует объяснить внутрисловесное троеточие имитацией этрусских графических приемов. Но этруски (с примыкающими к ним в этом отношении венетами) и италийцы спорадически применяют интерпункцию при записи слов для совершенно разных целей. У этрусков (и венетов) это средство обозначить отклонение слогов от стандартной структуры СГ – например, когда слог закрытый, или содержит дифтонг, вторая часть которого трактовалась этрусками как консонант, или если слог состоит из одного гласного. Отсюда этрусские написания типа i·tan·, aθenei·, lav·tunui· ([Pfiffig 1969] со ссылками на более ранние работы Э. Феттера и Ф. Слотти; венетские примеры такого же узуса в свое время подробно рассматривал И. М. Тронский [1953]). У италийцев же, включая латинян, как ярко показала Б. Б. Ходорковская, интерпункция внутри слова при редких случаях «этрусско-венетского» употребления, по большей части, основывается на критерии морфологическом, а не фонетическом, выделяя служебные морфемы, противопоставляемые корням: *оск*. ana.faket ‘он(а) посвятил(а)’ (Ve 190), anter.statai ‘стоящей посередине’ (Ve 147), am.atens ‘полюбовно решили’ (Ve 218), *умбр*. ANTER. MENZARU ‘intercalarium’ (TIg IIa 16), FER.TU ‘ferto’ (TIg IIb 12), PURTU.VETU ‘porricito’ (TIg IIb 17) и т. д. вплоть до позднейших написаний inter.essent, per.feci в Monumentum Ancyranum (III, 3; IV, 14) [Ходорковская 1978]. По всем критериям форма *Ϝ*he:*Ϝ*haked с ее внутрисловесным троеточием после **открытого** слога-морфемы противоречит этрусским нормам, но четко отвечает нормам италийским, в конце XIX в. еще не осознанным лингвистической наукой. Должны ли мы думать, что фальсификатор открыл эти принципы и использовал открытие лишь для того, чтобы запустить начертание

ϝhe:ϝhaked в научный обиход — или что он, конструируя наобум, случайно «попал в яблочко» правил италийского письма?

11. Но еще поразительнее было бы точное предвосхищение фальсификатором конкретного приложения в италийском мире тех же принципов к перфектной редупликации. Я говорю об уже упоминавшейся фалискской надписи на вазе, осколки которой были найдены в 1889 г. в Чивита Кастеллана. Начертания на этих осколках стали предметом лингвистического изучения с 1900-х [Thulin 1908; Vetter 1925], но лишь в 1936 г. ваза и надпись были вполне восстановлены в Музее Вилла Джулия. На этой вазе, поднесенной неким Правием своей подруге (praviosurnam:sociaipordedkarai), заключительная часть надписи, «говоря» от лица сосуда, гласит: eqournela..telafitaidupes:arcentelomhuti[c]ilom:pe:para[i..]douiad. В зависимости от понимания выражения arcentelom huticilom разные авторы тут видят сообщение либо о ‘легком (futilis) серебре’, коим полна как бы «рожающая» его ваза [Vetter 1953; Knobloch 1958; Pisani 1964], либо о ‘серебряном сосуде (futis)’, который должен быть приложен к глиняной вазе, «родиться» от нее — к чему и призывается в конце Правий (douiad ‘пусть даст!’) [Giacomelli 1963]. У Хэмпа [1981] точная графическая параллель между pe:para[i] и ϝhe:ϝhaked возбудила фантастическую мысль, якобы осколки из Чивита Кастеллана могли быть открыты на деле не в 1889 г., а еще до 1887 г. и как-то таинственно стали известны изготовителю фибулы Мартинетти. Гвардуччи [1980] по этому поводу не нашла ничего лучше, чем сослаться на конъюнктуры Э. Перуцци [1964], единственного ученого, отвергающего в pe:para[i] редупликацию и предлагающего читать то ли *arcentelomhuti[c]ilom:pe:para[cce]douiad ‘серебро вдвойне (якобы *pe < per, par в смысле «coppia») пусть придет (*accedouiad от accedo)!’ либо даже …*pe:para[tece]douiad ‘пусть быстро (*parate) придет (*pe[r]…cedouiad)!’. Однако построения Перуцци откровенно провальны: для образований от *и.-е.* *deH$_3$- варианты с w-расширением корня обычны (ср. *лит.* dãvė ‘он(а) дал(а), они дали’, *лтш.* devu ‘я дал’, *лит.* dovanà ‘дар’, *лтш.* davana то же, *слав.* *davati, *лат.* duim, duint (архаический оптатив), *умбр.* purdouito ‘porricito’ (TIg VIa 56) , *хет.* dumeni ‘мы берем’ [Иванов 1979], также *греч. кипр.* инфинитив δοϝέναι (to-we-na-i), оптатив δυϝάνοι (tu-wa-no-i) [Masson 1961]), но для конъюнктива основы, соответствующей *лат.* cedo, такое расширение непонятно и неправдоподобно. (Если уж дерзать на конъюнктуры, то, поскольку пробел между pe:para[i] и douiad, по оценкам Фетгера и Джакомелли, охватывает один или, самое большее, два знака, здесь, на мой взгляд, допустимо предположить предлог ad – *[ad]douiad ‘пусть прибавит!’, что отвечало бы гипотезе о серебряном сосуде, сле

дующем за глиняным). Таким образом, отвести соответствие в передачах перфектных удвоений на фибуле и на фалискской вазе не удается, при том что нет никаких оснований думать, будто форма pe:para[i] могла чудесно открыться фальсификатору до конца 1886 г. Позволим себе все же не поверить в фальшивку, не только учитывающую еще не опубликованные открытия, но предваряющую будущие археологические находки!

12. Отсюда следует принципиальный вывод. Если слухи о подделке фибулы как артефакта вполне подтвердились экспертизой Г. Девото, то надпись на этом артефакте содержит моменты убедительной подлинности – и этими моментами поднимаются до ранга открытий 1887 года и иные детали, которые иначе можно было бы спокойно отнести к изобретениям фальсификатора. Преодолимо ли это зияющее противоречие? Гвардуччи твердо умозаключает от подделки вещи к сфабрикованности надписи, Радке и Виакер – от аутентичности надписи к недостоверности микроструктурного анализа фибулы. Обе стороны с недоумением отвергают высказанную еще в 1974 г. Крумреем в письме к Гордону мысль о возможности воспроизведения подлинного текста на фальшивой вещи (см. [Gordon 1975]). Но пока анализ Девото не опровергнут, я не решился бы исключать того, что разрыв между характеристиками вещи и надписи может корениться в другом, временном разрыве — между январем 1887 г., когда некую фибулу впервые представили научному миру, и июнем 1889 г., когда наличная (поддельная) фибула была помещена на хранение в Музей Вилла Джулия. В обоих случаях надпись на фибуле была одна и та же. Но было ли во втором случае тем же самым изделие? Ни Гвардуччи со сторонниками, ни их оппоненты даже не обсуждают той версии, что изготовление фибулы-подделки могло состояться именно в указанном временном интервале, а вовсе не перед первой презентацией. А ведь, допустив эту возможность, пришлось бы полностью пересмотреть все высказывавшиеся соображения о мотивах фальсификаторов. В 1887 г. Гельбиг мог демонстрировать коллегам подлинную вещь с древней надписью, а в 1889 г. музей получил копию изделия, оригинал которого либо скрылся в тайниках Мартинетти, либо был продан на теневом рынке антикварных редкостей. Тогда к тексту на фибуле Мартинетти пришлось бы относиться примерно так же, как к известной этеокипрско-греческой билингве из Аматонта, пропавшей во время Первой мировой войны и изучаемой по предвоенной публикации Э. Зиттига и по его позднейшим воспоминаниям. Если Девото не ошибся, мысль о наличной фибуле как о копии пропавшего оригинала — чуть ли не единственная гипотеза, согласующаяся со **всеми** рассмотренными фактами, без натяжек и изъятий.